



# ЖИВОТНЫЕ НА ВОЙНЕ

**Федор КРУЧИНА**

г. Новосибирск

**В** детстве у меня был хомяк, два дня у меня прожил, на третий день — сбежал. Я завел рыбок. Через неделю они плавали кверху брюхом. Купленная в зоомагазине канарейка выпорхнула из клетки в открытое окно. Подаренный соседкой котёнок сразу же написал в мои туфли и был лишён права проживать в нашей квартире.

Но добил меня соседский попугай, который будил меня по утрам истошными криками: «Хрен я по грибы поеду!» После этого я решил: животные сами по себе, а я — сам по себе.

Я и не думал, что однажды окажусь в месте, где никакие прежние решения не имеют значения.

На войне никто животных не покупает: ни в зоомагазинах, ни в питомниках, ни на фермах... Они приходят сами.

К нам в подразделение пришёл кот. Даже не пришёл — просто материализовался. Как будто

собрался из атомов, субатомов и прочей квантовой пыли. Худой, полосатый, с выражением лица кадрового офицера. Мы — временные жильцы. Он — хозяин положения.

Уминал он всё с завидным аппетитом — и тушёнку, и сухпайки, и кашу с мясом, и солёные огурцы. Но особенно уважал шоколад «Аленка», которым его угощал Серёга. С этого момента Серёга стал его главным человеком. Остальные числились массовойкой.

Ночью кот спал в каске. Не знаю, как помещался. Каска маленькая. Кот — нормальный. Но он сворачивался так естественно, будто каска и была его кроватью. Днём переключивал на карту местности. Лежал на ней и смотрел, словно корректировал огонь артиллерии.

Во время обстрелов мы дрожали. Он — нет. Сидел спокойно. Как будто ему известны секретные сводки.

— Ну, у нас теперь боевой кот, — сказал я однажды.

— Боевые это мы, — ответил Серёга. — А он просто живёт. И делает это лучше нас.

Через месяц кот исчез. Мы не удивились. Появился сам. Сам и ушёл. Возможно, в другую роту. Возможно, на повышение.

К Витьке прибилась собака. Большая, чёрная, как уголь. Витька назвал её Чернышом. Лаяла на всё: на людей, на технику, на танк. Мы шутили: «Если танк испугается — война окончена».

Черныш имел странное свойство: при нём нельзя было ругаться. Он обижался. Смотрел так, будто ты только что сдал позиции врагу. Витька уверял, что он дисциплинирует личный состав. Мы проверяли — действительно, дисциплинирует.

Когда Витьку ранило, Черныш неделю жил под его койкой в госпитале. Его пытались выгнать — не вышло. В итоге оформили официально. В журнале медсестра записала: «Порода — неизвестна. Функция — моральная поддержка».

К нам в часть приплелась лошадь: старая, усталая, с проседью в гриве и глазами, видевшими слишком многое, чтобы удивляться.

Мы звали её Бабкой, а иногда — Марьей Ивановной. Она никогда никуда не спешила, просто стояла, жевала сухую траву и смотрела так, как будто знала больше, чем мы.

Иногда кто-то подходил к ней ночью. Гладил шею, шептал о доме, о страхе, о том, чего не скажешь товарищу. Она фыркала, дышала, слушала и всё прощала. Казалось, всё видела и всё понимала.

Однажды под обстрелом мы лежали в земле, а она стояла на пригорке. Стояла и смотрела, как будто проверяла нас на прочность. И странным образом именно это придавало сил.

А потом её не стало. Никто не знал, куда она ушла. Только в грязи остались следы копыт, ведущие к посадке. Мы решили: Бабка просто пошла дальше — на другую войну, где тоже нужны её большие спокойные глаза.

Рано утром нас всех разбудил поросёнок визг. Так у нас появился поросёнок. Маленький, с умными глазами, хвостиком крючком и розовым пятачком. Он рос на наших глазах, превращаясь в солидного борова. Его звали Пых. Никто уже не помнил, кто дал ему имя. Но все знали: пока Пых жив — всё будет нормально.

Пых погиб. Осколок. Его похоронили как героя. Но даже мёртвый Пых, казалось, всё ещё рядом — и значит, всё будет нормально.

У Сани был хомяк. Белый, грязный, с глазами цвета бутылочного стекла. Саня носил его в кармане бушлата. Потом переселил в рюкзак — хомяк рос, а карман нет. Когда Саня погиб, хомяк остался. Его носил другой боец. Потом ещё один. Так он превратился в полковой талисман.

Война быстро делает людей черствыми. Привыкаешь к потерям. Но когда погибает собака или исчезает кот — это почему-то больнее. Наверное, потому, что они не обязаны тут быть. Мы принимали присягу. Они — нет. Они выбрали нас сами.

Если меня когда-нибудь спросят, что я запомнил о войне? Полосатого кота, который спал в каске и смотрел на нас глазами вселенской совести.

## АМУЛЕТЫ НА ВОЙНЕ

На гражданке про всякие талисманы и приметы говорить как-то неловко. Сразу рисуется образ дамы в платке или экзальтированного студента, который скажет: «Предмет на исход дела повлиять не может». Любой диванный эксперт по критическому мышлению это растолкует без запинки.

Но война — совсем другое дело. Здесь нет экспертов, есть только суровый майор, который сам прячет под кителем лягушачью лапку.

На фронте всё возникает само собой. Никто не заказывает обереги на AliExpress или Alibaba, не бежит в эзотерическую лавку. Вчерашний слесарь или учитель вдруг достаёт из кармана что-то своё: гильзу с вмятиной, детский рисунок, где танк похож на утюг с хоботом. Или резиновую уточку. В мирной жизни она бы просто плавала в ванне. А здесь — ангел-хранитель.

У каждого солдата своя вещица. У соседа по нарам, допустим, патрон со сбитым капсюлем. Он носит его под сердцем — защитит, отведёт смерть. У другого — крестик на грязной верёвочке. Сам он неверующий, а носит, потому что «от бабки остался». У третьего — тот самый рисунок: танк-утюг и неровные буквы: «Папа, не

бойся». И ведь не боится. Или делает вид, что не боится — что, в общем-то, одно и то же.

Рядовому Петрову амулетом служил крохотный оловянный солдатик. Нашёл его где-то в развалинах. Таскал в вещмешке и говорил: «Это мой заступник». Мы не спорили. Если человеку так легче — значит, так и должно быть.

И что удивительно: эти амулеты становятся общим достоянием. Потеряет кто-нибудь свой крестик — ищут всем взводом, будто знамя полка посеяли. Рисунок сына могут передавать по кругу перед боем — посмотреть, поддержать. А если хозяин резиновой уточки выбыл из строя, её подбирает другой и кладёт в карман. Теперь будет хранить уже он. Такая вот преемственность талисманов.

Можно, конечно, над всем этим посмеяться, сидя в тёплом кабинете. Но когда над головой свистят пули, гудят беспилотники, а земля дрожит от разрывов — скепсис улетучивается быстрее дыма. Любая безделица — пуговица, монета, ключ, иконка, ладанка — становится важнее бронезилета. Бронезилет защищает тело, а такие вещи — душу. Они напоминают, что есть дом, есть жизнь, где не стреляют. И ради этого стоит как-то выкарабкаться.

Амулеты на войне — это не про магию. Это про обещания самому себе: вернуться, дотянуть, не свихнуться. Пока эта вещица с тобой, ты всё ещё человек, а не просто личный номер.

Когда война закончится, эти сокровища поедут домой. Кто-то спрячет их в шкаф, подальше от глаз. Кто-то выставит на самое видное место. В помятом крестике, в резиновой уточке — больше правды о войне, чем во всех учебниках истории. Это и есть сама жизнь. Нелепая, хрупкая и отчаянно цепляющаяся за всякую мелочь.

«Жизнь моя, брат... висит на шнурке этого башмачка», — почти шёпотом говорил Иванов, он же Кувалда, показывая свой амулет — детский ношенный башмачок, найденный им на развалинах детского сада.

## МАРТОЧКА

**Н**а бруствере нашего окопа выросла ромашка. Обычно ромашки держатся стайкой,

семейкой, а тут — одна, одинокая. Маленькая, белая, чуть нелепая на фоне обгорелого железа и сырой земли.

Солдаты сперва смотрели на неё настороженно. Война приучает: ничего лишнего здесь не бывает. Но ромашка стояла как ни в чём не бывало. Пули свистели мимо, осколки ложились в сантиметре, дроны рушились у самых корней — а ей всё нипочём. Хрупкий стебель будто насмеялся над тяжёлым грохотом и железной механикой вокруг.

Рядовой Овечкин, тайно писавший стихи, называл её Марточкой. Никто не возразил. Так и повелось — наша Марточка. Смешно, конечно: в окопе, где взрослые мужики каждый день ходят под смертью, вдруг появляется маленький центр мира — комочек белых лепестков.

Как-то раз по нам начали работать снайперы. Семёныч только высунулся на секунду — и пуля вспорола бруствер ровно там, где он был. Фонтанчик земли осыпал ромашку с головой. Мы замерли: думали, срезало. А когда пыль улеглась — стоит. Только один лепесток поник, грязный, словно седой. Семёныч потом долго сидел, глядя то на неё, то на дырку рядом. А вечером осторожно стряхнул с неё пыль и прошептал: «Спасибо, дочка».

С тех пор цветок стал не просто «нашей Марточкой», а чем-то большим. Кто-то соорудил вокруг неё оградку из палочек и проволоки, чтобы не зацепить сапогом. Когда неделями не было дождя, кто-нибудь обязательно плескал ей на корень глоток воды из фляги. Себе не хватало — а для неё находилось. Никто не приказывал, просто подходил и делал.

Каждый по-своему цеплялся за неё взглядом. Взбесишься, сорвёшься, а потом глянешь на ромашку — и будто легче становится. Как будто она шептала: стой, держись. Кто-то пытался объяснить её живучесть наукой: про ветер, про особенности почвы. Командир, бывший агроном, даже выдвинул теорию о вибрации грунта. Звучало солидно, но неубедительно. Мы знали: Марточка — это не ботаника. Это чудо.

Даже наш ворчливый старшина, что вечно бурчал: «Сорняк, завтра гусеницей раздавит», — и тот тайком поглядывал на неё. А после одного

обстрела первым делом проверил, стоит ли цветок, и только потом закурил.

Овечкин как-то решил прочитать нам свои строчки: про белый маяк в глиняном море и про то, что Бог говорит не голосом, а лепестками. Мы слушали молча. Никто не усмехнулся. В его нескладных словах было то, что чувствовал каждый, но не умел сказать. В ту ночь в окопе было удивительно тихо.

В конце лета Марточка, по законам природы, завяла. Сначала поникла головка, потом пожелтели лепестки. Мы молча смотрели на почерневший стебель — словно на маленький флажок без знамени. «Ну вот, отслужила», — сказал Овечкин. Он вынул несколько семян, завернул в бумагу и убрал в карман: «На всякий случай».

Многое потом стёрлось, слилось в один бесконечный день боли и страха. Но ромашка осталась в памяти. Как доказательство: даже в аду может пробиться кусочек жизни. А если есть такие чудеса — значит, ещё есть надежда.

## ДО СВИДАНИЯ, ПТИЦЫ

Осень... не календарная, а настоящая — дождливая, капризная, словно художник, перебирающий краски и тянущий кисть по опавшим листьям. Она тихо ползёт по краю полей, где земля трещит и дышит под ногами тяжёлым воздухом, ещё пахнущим дымом костров и порохом, и одновременно — сыростью сумерек, влажной древесиной и привкусом гнили. Летнее тепло уже растворилось в воздухе, оставив лёгкую горечь памяти о прошедших днях.

Птицы собираются в клин — аккорды из перьев и ветра словно музыканты, готовящиеся к последнему концерту уходящего лета. Молодняк учится держать крыло: взмахи неловкие, цепляющиеся за невидимые струны воздуха. Старые — точны и беспощадны, как дирижёрская палочка, задавая ритм жизни, которому не подчиниться. Строй ломается и снова выравнивается, упорно следуя по невидимому нотному стану, в котором заключены их жизнь и дыхание.

Каждый день клин скользит над нашими позициями. Тени крыльев дрожат на рваной земле, на обломках, на воронках, рисуя причудливые

узоры. Молодые птицы сталкиваются в воздухе, старые поправляют их — с точностью, которой только природа способна быть и беспощадной, и щедрой.

Очередной клин проносится над нами.

— Словно на параде, — усмехается наш командир, и в улыбке его слышится лёгкий отблеск детского удивления.

И вправду: никакой суеты, никакой паники — строгая геометрия строя, которая держится в воздухе так же безупречно, как струна виолончели под смычком.

...Время не удержать: печально курлыкая, птицы пролетают над позициями в последний раз, оставляя за собой прозрачный след воздуха, пахнущий осенью и временем, которое мы называем жизнью.

— Уносят наше лето... — вздыхает новобранец Серёга, глядя вслед исчезающему клину.

— Весной вернутся, — заверяю я, всматриваясь в тающие на горизонте точки, в растворяющиеся аккорды из перьев и ветра. И шепчу про себя:

«До свиданья, птицы. Мы ждём вас весной».

## ИЗДАЛЕКА ДОЛГО...

Однажды Генка, позывной «Борзой», — юркий, жилистый, с острым, как у хорька, лицом, втащил в блиндаж аккордеон.

— В развалинах дома нашёл, — пояснил он.

— А зачем он тебе? — поинтересовался Пётр, позывной «Муха».

— У нас же музыкант есть... Мамонт, — с ехидной ухмылкой обратился Генка к Андрею, позывной «Мамонт», самому пожилому из всех. — Ты ведь, говорят, был лабух. Покажи, на что способен, а то от гула «птичек» уже в ушах звенит.

Андрей, чья массивная фигура, казалось, выросла в дощатую лавку, медленно поднял тяжёлую голову. Он молча взял аккордеон, бережно повертел его в огромных руках, словно взвешивая не только его вес, но и груз чужих воспоминаний.

— Немецкий, — низко и размеренно прогудел он. — Трофейный. Ему, поди, под сотню лет.

Тут играть уже не на чем — одна память осталась.

— Плохому танцору известно, что мешает, — фыркнул Борзой, но его колкость повисла в спертом воздухе блиндажа.

— Так он же не танцор, — мягко вмешался Роман, позывной «Ледокол». Его спокойствие, казалось, могло остановить и танковую атаку. — Он музыкант.

— Ну так и я про то! — оживился Генка. — Если музыкант, пусть врежет что-нибудь такое, чтоб до печёнок проняло! Такое... резкое! — Он сделал неопределённый, но выразительный жест рукой.

Мамонт лишь вздохнул, перекидывая потёртые ремни через широкие плечи. Старый инструмент будто сросся с его массивной фигурой, стал её продолжением. Загрубевшие от войны пальцы легли на тёртые клавиши.

Из мехов аккордеона вырвался хриплый вздох. Потом второй, третий... и родилась мелодия. Она звучала сперва робко, будто пробивалась сквозь толщу времени, но с каждым тактом крепла и наливалась силой. Мамонт откинул голову, и в тесном блиндаже вдруг раздался его неожиданно чистый, глубокий голос.

— Издалека долго...

Голос рос, заполняя пространство. К нему присоединился Ледокол. Борзой сначала сбивался, не зная слов, но упрямо тянул обрывки — то мычал басом, то подхватывал последний слог. Один за другим бойцы поддержали их: кто едва слышным шёпотом, кто глухим басом, угадывая мелодию скорее сердцем, чем памятью.

Никто не стеснялся фальши. Никто не боялся сбиться. Это было важнее, чем песня.

Когда последние звуки оборвались, блиндаж накрыла не просто тишина — наступило то безмолвие, что рождается не от пустоты, а от переполненности. В ней каждый слышал своё: скрип калитки в покинутом доме, смех детей, плеск речной воды. Борзой отвернулся к стене и тихо шмыгнул носом; никто не укорил его. Мамонт осторожно снял аккордеон и прислонил к стене — словно уложил спать усталого старика.

И в этом молчании, при свете тусклой лампочки, они перестали быть «Борзым», «Мухой» и «Мамонтом». Они снова стали Генкой, Петей, Андреем — людьми, у которых когда-то текла своя, мирная река.

Издалека долго...

---

**Федор КРУЧИНА**

*живет в Новосибирске. Журналист.*

*Женат. Двое детей.*

